



В. СОЛЬСКИЙ

Троцкий

<Фрагменты>

Жалкая беспомощность пред лицом торжествующего милитаризма, унижение великой страны, жуткое ожидание темного будущего, поругание светлых принципов проступали из каждого слова несчастной депутации. Балаган, устроенный Троцким, давал мучительное зрелище. Так невозбранно производилось надругательство над человеческим достоинством только теперь, только еще слабо пробуждающегося от рабских чувств народа.

И так некстати, так оскорбительно неуместно тянулась ненужная полемика между Троцким и Кюльманом¹, лишь замедлявшая тягостную операцию.

— Что делаешь, делай скорее!

Но Троцкий продолжал свои ораторские упражнения, не чувствуя всей унизости положения. Он острословил и пускал злые шпильки по адрес презрительно улыбающихся немецким дипломатов.

<...>

И, как бы для того, чтобы подчеркнуть поражение революции, иронии истории угодно было поставить у ее останков Троцкого, забавлявшегося эффектной игрой света и огня, еще исходивших от величественных идей и настроений.

Революция была распята, и на ее Голгофе — в Брест-Литовске — Троцкий белилами и румянами осквернял священный труп.

<...>

В перерыве переговоров Троцкий возвратился в Петроград и доложил тамошнему совету рабочих и красноармейских депутатов:

— Мы приперли Гинденбурга к стенке!

Что это было? Хлестаковщина или трезвое издевательство над позорным существом происходившего?

Нужно вспомнить тогдашнее грозное положение Германии, которой брест-литовский мир развязывал руки для выполнения самых смелых завоевательных планов.

Гинденбург коротко ответил на выкрик Троцкого. Руками одного из своих незначительных генералов «припертый к стенке Гинденбург» провел по карте России черту, означавшую кровавую рану отсекаемых от нее территорий.

Иначе?

Иначе «припертый к стенке Гинденбург» намеревался занять Ревель и взять под угрозу Петроград.

Поставленная пред таким выбором, депутация, по словам одного из ее участников, чувствовала себя подавленной. Пред ней не было выхода. Словесная игра Троцкого не изменяла всегда и для всех ясного факта: нет зверя неумолимее, чем человек — победитель. И принятие условий продиктованный из Берлина, означало предательство интересов народа и святотатство над его волей.

Революция, униженная и оскорбленная, приходила к своему врагу и собственноручно повергала к его ногам свой щит.

— Аннексия и контрибуция!

Чистые мечтания народа о новом повороте международных отношений швырялось под ноги победителям...

«Мы заключили мир с германским пролетариатом» превращалось в покорное исполнение приказов генералитета.

Но Троцкий нашелся: он отыскал выход из беспросветного положения.

— Мы не заключим мира, но и не будем вести войны!

Вскоре мы увидим, какого свойства эта находчивость и где ее источник.

<...>

Здесь, понятно, интересна не практическая сторона подсказанного Троцким выхода. Ее нелепость не нуждается в доказательствах. Интересная психология этой легкости решения трагического вопроса, это успокоение из бессмысленной формулы.

— Что будет потом? Как отразится «умытие рук» на насущных потребностях страны, на всем ее бытии?

Эти мысли не волновали, не тревожили ни сознания, ни совести. Даже просто соображение о том, можно ли действительно

удержаться в ирреальном положении («ни войны, ни мира») не приходило на ум. От грозных призраков, обступавших со всех сторон судьбу народа, отделались закругленной фразой, уложили чемоданы и уехали на родину, чтобы затем возвратиться и подписать каторжный приговор...

Между тем из Петрограда Троцкий развивал пред рабочими свою программу мира.

— Мы, — говорил он, — придем в Учредительное собрание и скажем: вот результаты наших переговоров. Угодно вам, заключайте мир, негодно — действуйте, как найдете нужным.

Здесь важно уже не то, что Учредительное собрание собиралось поставить пред совершившимся непоправимым фактом и взвалить на него ответственность за будущее, честь и репутацию народа. Здесь существенно иное.

Дело в том, что в это время большевиками уже была пущена презрительная кличка «Учредилка», и ими уже был разработан план разгона Учредительного собрания. И задача Троцкого сводилась к тому, чтобы лицемерием и ложью усыпить бдительность продолжавших пока еще революционно мыслить рабочих.

На этот раз роль свою Троцкий провел блестяще.

<...>

Он был всюду, где еще дымилась потоком льющаяся братская кровь, где разрушались веками накопленные богатства русской культуры, он как бы взбирался на груды еще не остывших трупов и терзал нервы площадными возгласами.

Хотелось болезненно крикнуть:

— Замолчите!

Между тем Троцкий продолжал в Смольном и цирке «Модерн» разрабатывать практические вопросы, для которых он неуклонно находил быстрое и легкое решение.

— Финансовые затруднения? Обложить банки и банкиров, и деньги будут.

И так далее, и все в том же роде.

Его слушали тысячи рабочих, несших к нему свои чистые верования и жажду нового откровения. Может быть, порой их охватывали разъедающие сомнения, и тогда в их глазах светилось суровое негодование:

— Что будет с Россией, с рабочим классом, со всемирным пролетариатом, если вы приведете нас к банкротству?

И Троцкий тотчас же давал устраняющие всякие колебания ответ.

— Если же наши опыты кончатся неудачей, то мы... В самом деле, что тогда? Что предпримут тогда «мы»?

Наложат на себя руки в отчаянии от участия в гибели великой страны, в сознании своих преступлений пред революцией, которая иными путями обещала привести к невиданному расцвету светлых ожиданий?

Нет! Зачем накладывать на себя руки?

У Троцкого был готов другой, легкий и приятный выход:

— Тогда, — говорил он, — мы уйдем и скажем нашим заграничным товарищам...

Этот фривольный жест не только устраняет колебания. Он делал ненужными, неуместными, странными тревоги совести, по пятам преследующие чувство ответственности. И он ясно говорил, какая душевная бессодержательность, какая пустота психологии порождают звон и легкость фраз и находчивости Троцкого.

«Чесотка языка» тем временем проявлялась. Троцкому не терпелось, и однажды в цирке «Модерн» он проболтался о «машине, которая отделяет голову от туловища».

Негодование охватило редакции доживавших тогда свои дни оппозиционных газет. Это упоминание о машине, отделяющей голову от туловища, эти подстегивания уже доведенной до бешенства озверевшей толпы, эти намеки на фоне безнаказанного разгула преступлений походили на хладнокровное злодейство.

На гневные статьи газет последовал официальный ответ:

— Троцкого поняли неверно. Он не проектировал машины. Это была лишь аналогия с великой французской революцией.

Истерзанная действительность уже через некоторое время показала, какая была эта аналогия...

